

Петербургские сновидения в стихах и в прозе — текст 2 из 2

О, да будет проклята навеки моя должность — должность фельетониста!..

Не беспокойтесь, господа, это не я восклицаю! Признаюсь, что такое начало было бы слишком эксцентрично для моего фельетона. Нет, я так не воскликну, но до приезда моего в Петербург я решительно был уверен, что каждый петербургский фельетонист, принимаясь за перо, чтоб строчить свой еженедельный или ежемесячный фельетон, непременно должен так воскликнуть, садясь за письменный стол. В самом деле, рассудите, о чем писать? Приехала, напр<имер>, Ристори, и вот — всё что ни есть фельетонистов тотчас же строчит во всех фельетонах, во всех газетах и журналах, с направлением и без направления, одно и то же: Ристори, Ристори, — Ристори приехала, Ристори играет; она в «Камме», — тотчас же «Камма», «Камма», что ни развернете, везде «Камма»; в «Марии Стюарт», — тотчас же «Стюарт», «Стюарт» и т. д. Так и рвут друг у друга новости! А всего досаднее то, что они действительно воображают, что это новости. Возьмешь газету, читать не хочется: везде одно и то же, уныние нападает на вас, и только согласишься, что много надо иметь хитрости, пронырливости, рутинной набивки руки и мысли, чтоб об одном и том же сказать хоть и одно и то же, но как-нибудь не в тех же словах. И теребят свой умишко несчастные и проклинаят свою участь. И сколько, может быть, драм, даже чего-нибудь трагического происходит где-нибудь в сыром углу в пятом этаже, где в одной комнате помещается целая семья, голодная и холодная, а в другой сидит фельетонист, дрожит в продранном халатишке и пишет фельетон а la Новый Поэт о камелиях, устрицах и приятелях, теребит свои волосы, грызет перо, и всё это при обстановке совершенно не фельетонной. Но я увлекся; может быть, и ни одного такого нет фельетониста в Петербурге. Может быть, они все ездят в каретах и питаются страсбургскими пирогами... Но что? Ужели фельетон есть только перечень животрепещущих городских новостей? Кажется бы, на всё можно взглянуть своим собственным взглядом, скрепить своею собственною мыслию, сказать свое слово, новое слово.

Но боже мой! что вы говорите! Новое слово. Да разве каждый день можно говорить по новому слову, когда во всю жизнь, пожалуй, его не добьешься, а и услышишь, так еще и не узнаешь. Скрепить своею мыслию, говорите вы. Но какую же своею мыслию, где взять свою мысль? Отступите хоть на йоту от

мыслей антрепренера, он тотчас же откажет вам и вышлет из журнала. Ну да положим, мысль и будет, но оригинальность, но оригинальность, — где ее-то взять? Мысль ведь это все-таки не ваша. На это надо... да, на это надо ума, прозорливости, таланта! Слишком много вы хотите уж требовать от нашего фельетониста! А знаете ли, что такое иногда фельетонист (разумеется, иногда, а не всегда)? Мальчик, едва оперившийся, едва доучившийся, а часто и не учившийся, которому кажется, что так легко писать фельетон: «Он без плана, думает он, это не повесть, пиши о чем хочешь, тут посмейся, там отзовись с известного рода уважением, тут про Ристори, там про добродетель и нравственность, а там про безнравственность, про взятки например, уж непременно про взятки, и готов фельетон. Ведь мысли теперь продаются совершенно готовые, на лотках, как калачи. Составился бы только печатный лист, да и дело с концом!» Иному современному строчиле (вольный перевод слова «фельетонист») и в голову не приходит, что без жара, без смысла, без идеи, без охоты — всё будет рутинной и повторением, повторением и рутинной. Ему и в голову не приходит, что фельетон в наш век — это... это почти главное дело. Вольтер всю жизнь писал только одни фельетоны... Но боже мой! что я! ведь я сам пишу фельетон. Куда я заехал? Новостей! новостей!

О господи! Мне до того надоели все новости, что я не понимаю, как еще вас от них не тошнит. Вот, например, случилось что-нибудь с Андрей Александровичем! Боже мой! Целые стаи фельетонистов налетают со всех сторон, как хищные птицы на павшую корову. Каждый хватает свой клочок, все клюют, клюют, щебечут, кричат, дерутся, как воробьи, когда они целыми тучами вдруг быстро перелетают с одного плетня на другой. Не в том дело, что они кричат: ведь и об Андрей Александровиче можно сказать, наконец, хоть и что-нибудь путное, ну, хоть занимательное. Не в том дело, а в том... но, господи, позвольте не договаривать в чем. Даже и об Андрее Александровиче не хочется говорить; переменим матерью, поговорим о другом.

Я думаю так: если б я был не случайным фельетонистом, а присяжным, всегдашним, мне кажется, я бы пожелал обратиться в Эжени Сю, чтоб описывать петербургские тайны. Я страшный охотник до тайн. Я фантазер, я мистик, и, признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то всё боялся его. Помню одно происшествие, в котором почти не было ничего особенного, но которое ужасно поразило меня. Я расскажу вам его во всей подробности; а между тем, оно даже и не происшествие — просто впечатление: ну ведь я фантазер и мистик!

Помню, раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов... Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование... Скажите, господа: не фантазер я, не мистик я с самого детства? Какое тут происшествие? что случилось? Ничего, ровно ничего, одно ощущение, а прочее всё благополучно. Если б я не побоялся оскорбить деликатность мыслей г-на —бова, я бы прописал себе тогда в виде лекарства — розог, так, за мрачное направление... О, вижу, вижу, как встает передо мной тучный образ покойного Фаддей Венедиктовича.

О, с каким наслаждением подхватил бы он в субботнем фельетоне мою фразу о розгах.

«Вот, смотрите, читатели и милые читательницы! — восклицал бы он четыре субботы сряду, — сами признаются, что им надобно розог. Я по крайней мере написал „Выжигина“, а они...» и т. д., и т. д. Но я надеюсь, что Новый Поэт, наследовавший популярность Фаддея Венедиктовича четырнадцатилетним служением искусству, не пропишет мне розог.

И вот с тех пор, с того самого видения (я называю мое ощущение на Неве видением) со мной стали случаться всё такие странные вещи. Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа «Монастырь» Вальтер Скотта, и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душой моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я... я... служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, разворачиваю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю... и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию. А настоящую Амалию я тоже проглядел; она жила со мной, под боком, тут же за ширмами. Мы жили тогда все в углах и питались ячменным кофеем. За ширмами жил некий муж, по прозвищу Млекопитаев; он целую жизнь искал себе места и целую жизнь голодал с чахоточной женою, с худыми сапогами и с голодными пятерыми детьми. Амалия была старшая, звали ее, впрочем, не Амалией, а Надей, ну да пусть она так и останется для меня навеки Амалией. И сколько мы романов перечитали вместе. Я ей давал книги Вальтер Скотта и Шиллера; я записывался в библиотеке у Смирдина, но сапогов себе не покупал, а замазывал дырочки чернилами; мы прочли с ней вместе историю Клары Мовбрай и... расчувствовались так, что я теперь еще не могу вспомнить тех вечеров без нервного сотрясения. Она мне за то, что я читал и пересказывал ей романы, штопала старые чулки и крахмалила мои две манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице, на которой всего больше было яичных скорлуп, она вдруг стала как-то странно краснеть — вдруг так и вспыхнет. И хорошенькая какая она была, добрая, кроткая, с затаенными мечтами и с сдавленными порывами, как и я. Я ничего не замечал; даже, может быть, замечал, но... мне приятно было читать «Kabale und Liebe» или повести Гофмана. И какие мы были тогда чистые, непорочные! Но Амалия вышла вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу, жившего некоторое время у нас в углах, но получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку и... непроходимую бедность. У него всего имущества было только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки, «которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу». Я даже подозреваю, что будь у него кошка, которую нельзя было принять за куницу, то он, может, и не решился бы жениться, а еще подождал. Помню, как я прощался с Амалией: я поцеловал ее

хорошенькую ручку, первый раз в жизни; она поцеловала меня в лоб и как-то странно усмехнулась, так странно, так странно, что эта улыбка всю жизнь царапала мне потом сердце. И я опять как будто немного прозрел... О, зачем она так засмеялась, — я бы ничего не заметил! Зачем всё это так мучительно напечатлелось в моих воспоминаниях! Теперь я с мучением вспоминаю про всё это, несмотря на то, что женись я на Амалии, я бы, верно, был несчастлив! Куда бы делся тогда Шиллер, свобода, ячменный кофе, и сладкие слезы, и грезы, и путешествие мое на луну... Ведь я потом ездил на луну, господи.

Но бог с ней, с Амалией. Только что я сам обзавелся квартирой и смиренным местечком, самым, самым смиренным из всех местечек на свете, мне стали сниться какие-то другие сны... Прежде в углах, в Амальиных времена, жил я чуть не полгода с чиновником, ее женихом, носившим шинель с воротником из кошки, которую можно было всегда принять за куницу, и не хотел даже и думать об этой кунице. И вдруг, оставшись один, я об этом задумался. И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Всё это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и всё хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. И если б собрать всю ту толпу, которая тогда мне приснилась, то вышел бы славный маскарад... Теперь, теперь дело другое. Теперь мне снится, пожалуй, хоть и то же, но в других лицах, хотя и старые знакомые стучатся иногда в мою дверь. Приснилось мне недавно вот что: жил-был один чиновник, разумеется в одном департаменте. Ни протеста, ни голоса в нем никогда не бывало; лицо вполне безгрешное. Белья на нем почти тоже не было; вицмундир перестал исполнять свое назначение. Ходил мой чудак сгорбившись, смотрел в землю, и когда, бывало, возвращаясь из должности к себе на Петербургскую, он попадал на Невский, то, наверное, на Невском никогда не являлось существа покорнее и безответнее, так что даже кучер, хлестнувший его один раз кнутиком, так, из ласки, когда он перебежал через нашу великолепную улицу, почти подивился на него, потому что он даже не поворотил к нему головы, не то чтобы выругал. Дома у него была старая тетка, родившаяся с зубной болью и подвязанной щекой, и ворчунья жена, с шестерыми детьми. И когда все дома просили хлеба, рубашек и обуви, он сидел себе в уголку у печки, не отвечал ни слова, писал казенные бумаги или

упорно молчал, опустил глаза в землю и что-то пришептывая, как будто замаливал у господ свои прегрешения. Терпения не стало наконец ни у матери, ни у детей. Они жили в мезонине деревянного домика, половина которого уже обвалилась, а другая обваливалась. И когда слезы, попреки и терзания дошли наконец до последней степени, бедняк вдруг поднял голову и проговорил, как Валаамов осел, но проговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом. И могло же войти ему в голову, что он — Гарибальди! Да! все чиновники, его сослуживцы, показали, что он уже две недели заботился об этом; вычитал он что-то случайно в подвернувшейся на столе газете. Никогда-то он почти ни с кем не говорил и вдруг начал беспокоиться, смущаться, расспрашивать всё о Гарибальди и об итальянских делах, как Поприщин об испанских... И вот в нем образовалась мало-помалу неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей. Сознав в себе свое преступление, он дрожал день и ночь. Ни стоны жены, ни слезы детей, ни высокомерные лакеи у подъездов, подставлявшие ему на Невском ногу, ни ворона, севшая ему однажды на улице на искомканную его шляпу и возбуждавшая всеобщий смех его департаментских, ни кнуты лихачей-извозчиков, ни пустое собственное брюхо — ничто, ничто уже более не занимало его. Весь божий мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля скользила из-под ног его. Он одно только видел везде и во всем: свое преступление, свой стыд и позор. Что скажет их превосходительство, что скажет сам Дементий Иваныч, начальник отделения, что скажет, наконец, Емельян Лукич, что скажут они, они все... Беда! И вот в одно утро он вдруг бросился в ноги его превосходительству: виноват, дескать, сознаюсь во всем, я — Гарибальди, сделайте со мной что хотите!.. Ну, и сделали с ним... что надо было сделать. Когда мне приснился этот сон, я сам засмеялся над собою и над странностью моих снов. И вдруг — сон в руку. Как вам нравится, господа: вычитал я недавно из газет опять одну тайну. Действительно тайну; в газетах напечатано и истолковано, а все-таки тайну. Открылся вдруг новый Гарпагон, умерший в самой ужасной бедности, на грудах золота. Старик этот, которого тоже нужно отнести к замечательным субъектам доктора Крупова, был некто отставной титулярный советник Соловьев, имевший около восьмидесяти лет от роду. Он нанимал себе угол за ширмой за три рубля. В своем грязном углу Соловьев жил уже более года, не имел никаких занятий, постоянно жаловался на скудость средств и даже, верный характеру своей видимой бедности, за квартиру во-время не платил, оставшись после смерти должен за целый год. В течение этого года новый Плюшкин постоянно был болен, страдал одышкою и грудным расстройством и ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу. Он отказывал себе в свежей пище, даже в последние дни своей жизни. После

смерти Соловьева, умершего на лохмотьях, посреди отвратительной и грязной бедности, найдено в его бумагах 169 022 р<убля> с<еребром>, кредитными билетами и наличными деньгами. Газетное объявление гласит, что найденные деньги отданы на хранение в департамент Управы благочиния, а тело умершего подлежит вскрытию... Я раздумывал об этом происшествии и приближался к Гостиному двору. Становился вечер; в магазинах, за цельными, слегка запотевшими стеклами, загорелся газ. Рысаки и офицеры летели по Невскому; тяжело хрустя по снегу, неслись блестящие кареты, запряженные гордыми конями, с гордыми кучерами и надменными лакеями. Изредка раздавался звонкий стук подковы, тронувшей сквозь снег камень; по тротуарам валили прохожие... был канун рождества... И вот передо мною в толпе мелькнула какая-то фигура, не действительная, а фантастическая. Я ведь никак не могу отказаться от фантастического настроения. Еще в сороковых годах меня называли и дразнили фантазером. Тогда, впрочем, я не пролез в одну щелочку. Теперь, разумеется, — седина, житейская опытность и т. д., и т. д., а между тем я все-таки остался фантазером. Фигура, скользнувшая передо мною, была в шинели на вате, старой и изношенной, которая непременно служила хозяину вместо одеяла ночью, что видно было даже с первого взгляда. Исковерканная шляпа, с обломанными полями, сбивалась на затылок. Клочки седых волос выбивались из-под нее и падали на воротник шинели. Старичок подпирался палкой. Он жевал губами и, глядя в землю, торопился куда-то, вероятно к себе домой. Дворник, сгребавший с тротуара снег, нарочно подбросил прямо на его ноги целую лопату; но старичок этого даже и не заметил. Поровнявшись со мной, он взглянул на меня и мигнул мне глазом, умершим глазом, без света и силы, точно предо мной приподняли веку у мертвеца, и я тотчас догадался, что это тот самый Гарпагон, который умер с полмиллионом на своих ветошках и ходил в Максимилиановскую лечебницу. И вот (у меня воображение быстрое) передо мной нарисовался вдруг образ, очень похожий на пушкинского Скупого рыцаря. Мне вдруг показалось, что мой Соловьев лицо колоссальное. Он ушел от света и удалился от всех соблазнов его к себе за ширмы. Что ему во всем этом пустом блеске, во всей этой нашей роскоши? К чему покой и комфорт? Что ему за дело до этих лиц, до этих лакеев, сидящих на каретах, до этих господ и госпож, сидящих внутри карет; до этих господ, катающихся на рысках, и до этих господ, бредущих пешком, до этих очаровательных молодых людей, на лицах которых написана ненасытная жажда камелий и рублей серебром?.. Что ему за дело до этих камелий, Минн и Арманс?.. Нет; ничего ему не надо, у него всё это есть, — там, под его подушкой, на которой наволочка еще с прошлого года. Пусть с прошлого года: он свистнет, и к нему послушно приползет всё, что ему надо. Он захочет, и многие лица осчастливят

его внимательной улыбкой. Вот вино — оно бы согрело его кровь; оно бы помогло ему, и даже недорогое вино... Не надо ему никакого. Он выше всех желаний... Но когда я фантазировал таким образом, мне показалось, что я хватил не туда, что я обкрадываю Пушкина, и дело происходило совсем другим образом. Нет, это было, верно, не так. Лет шестьдесят назад Соловьев, верно, где-нибудь служил; был молод, юн, лет двадцати. Может быть, и он тоже имел увлечения, разъезжал на извозчиках, знал какую-нибудь Луизу и ходил в театр смотреть «Жизнь игрока». Но вдруг с ним что-нибудь случилось такое, как будто подталкивающее под локоть, — одно из тех происшествий, которые в один миг изменяют всего человека, так что он даже сам того не заметит. Может быть, с ним была какая-нибудь минута, когда он вдруг как будто во что-то прозрел и заробел перед чем-то. И вот Акакий Акакиевич копит гроши на куницу, а он откладывает из жалованья и копит, копит на черный день, неизвестно на что, но только не на куницу. Он иногда и дрожит, и боится, и закутывается воротником шинели, когда идет по улицам, чтоб не испугаться кого-нибудь, и вообще смотрит так, будто его сейчас распекли. Проходят годы, и вот он пускает с успехом гроши свои в рост, по мелочам, чиновникам и кухаркам, под вернейшие заклады. Копится сумма, а он робеет и робеет всё больше и больше. Проходят десятки лет. У него уже таятся заклады тысячные и десятитысячные. Он молчит и копит, всё копит. И сладостно, и страшно ему, и страх всё больше и больше томит его сердце, до того, что он вдруг осуществляет свои капиталы и скрывается в какой-то бедный угол. Он держал было сначала у себя, в заплесневелой квартире своей, со стенами под желтой краской, кухарку и кошку; кухарка была глупа, но честная от глупости. А он всё ее бранил и корил; ел картофель, пил цикорий, — и поил им кухарку, безответную и послушную. Мясо покупал он только для кошки, в месяц по фунту, и она от этого страшно мяукала, и когда мяукала и жалобно смотрела в его глаза, прося говядинки, и терлась около него, подняв хвост строкою, он гладил ее, называл ее Машей, а говядинки все-таки не давал. Всё богатство его состояло в стенных часах, с гирями на веревках, и от нечего делать он посматривал на эти часы, как будто интересуясь, который час. Но околела кошка, за кухаркой прислал муж из деревни, часы давно уже стали и развалились. Старичок остался один, осмотрелся, пожевал губами и продал за два гроша на толкучий свои три провалившиеся стула, ломберный стол, с которого он давно уже придумал содрать сукно, чтоб употребить его на внутреннюю подкладку халата, но не употребил, а, пожевав губами, бережно сложил и спрятал в свой узелок. Продал он и часы и — отправился проживать по углам. По углам, за ширмами он спал, ел картофель, уменьшая каждый день его количество, трепетал и боялся, не доплачивал денег и, не заплатив, переезжал в другие углы, чтоб не заплатить потом и там. И сколько раз,

может быть, бедная немка, его хозяйка, в папильотках и грязная, приставала к нему, чтоб он отдал ей хоть один грош своего долга. Он только ахал и охал, говорил ей о благочестии, о долготерпении и милосердии, крестил себе рот и засыпал тревожно и с дрожью, чтоб кто-нибудь не узнал его тайны, чтоб хозяйка не проведала... И зачем он ходил в Максимилиановскую лечебницу? Зачем ему было лечиться? Для чего ему была жизнь? И предчувствовал ли он, что все его полмиллиона поступят на хранение в Управу благочиния? Впрочем, его тело хотели вскрывать, увериться, что он был сумасшедший. Мне кажется, что вскрытием не разъясняются подобные тайны. Да и какой он был сумасшедший!

Я вошел в Гостиный двор. Под арками кишела толпа людей, сквозь которую даже трудно было пробиться. Всё это покупало и запасалось на праздники. Под арками же преимущественно продавались игрушки и стояли готовые елки всех сортов, и бедные и богатые. Пред грудой игрушек стояла одна толстая дама с лорнетом и с лакеем в какой-то невозможной ливрее. Даму сопровождал курносый и чрезвычайно потертый молодой человек. Дама щебетала и выбирала игрушки; в особенности ей понравилась фигурка в синем мундире и красных панталонах.

— C'est un Zouave, c'est un Zouave, — пищала дама, — voyez, Victor, c'est un Zouave; car enfin il a... enfin c'est rouge; c'est un Zouave!

И дама с восторгом купила зуава.

Недалеко от них, у другого вороха игрушек, в толпе покупателей стояли господин и госпожа и долго выбирали, что бы купить, чтоб и хорошо было и подешевле. Последнее, кажется, очень занимало господина.

— Посмотри, душенька, ведь щелкает, — говорил он своей подруге жизни, показывая ей деревянную пушечку, которая действительно щелкала. — Смотри, видишь — щелкает!

И господин несколько раз щелкнул перед глазами своей озабоченной барыни. Но той хотелось игрушку получше; она с недоумением смотрела на пушку.

— Лучше бы вот хоть эту куклу, — сказала она, безнадежно указав на нее пальцем.

— Эту куклу? гм... — проговорил господин. — Отчего же, душенька, смотри — ведь щелкает?

Его нахмуренное раздумье, серьезное, озабоченное каждым гривенником лицо свидетельствовало, что деньги доставались ему не даром. Он не решался

и, с нахмуренным видом, молча, продолжал щелкать из пушечки. Я не знаю, что они купили. Я продолжал пробираться сквозь толпу, преследуемый памятью Шиллера, продаваемою мальчишками, к которой присоединился теперь и Виктор-Эммануил. Изредка в толпе слышался робкий голос ребенка, украдкой просившего милостыню.

— Милостивый государь, извините, что осмеливаюсь вас беспокоить...

Я оглянулся. За мною следовал один господин, в форменном пальто, которого я подозреваю выгнанным из службы. Иначе быть не может. Они все ходят потом в форменных пальто, особенно бывшие под судом. Это господин вершков девяти росту, с виду лет тридцати пяти и родной братец Ноздреву и поручику Живновскому, в фуражке с красным околышком, с отвратительно свежим цветом лица и с необыкновенно тщательно выбритою физиономией, до того открытой и «благородной», что при взгляде на нее у вас рождалось непреодолимое желание плюнуть прямо в эту физиономию. Я его знаю; он уже мне не раз встречался на улице.

— Преследуем несчастьем. Сам давал по пятнадцати целковых нуждавшимся. Милостивый государь... с вашей стороны... если смею надеяться...

Не одного этого господина, дававшего по пятнадцати целковых нуждавшимся (надо было бы узнать, сколько

он

содрал с других нуждавшихся?), я встречал на петербургских улицах. Или мое такое несчастье, или я имею какое-нибудь особенное свойство на них наткаться. Я помню еще одного господина, тоже в форменном сером пальто, необыкновенно чистом и новом, с великолепнейшими бакенбардами и с благородством лица неизобразимым. Это лицо сияло здоровьем, белые руки блестели чистотою. Он придрался ко мне на немецком языке, вероятно, чтоб не компрометировать себя перед «публикой»; я не знал, как отстать от него. Такого бесстыдства я никогда еще не встречал... А какие бы из всех этих попрошаек вышли славные накатчики насосов или работники на железных дорогах! что за сила, что за здоровье! Но — благородство препятствует! И какие, должно быть, они были в свое время дантисты...

Но встреча с пальто отвратительно благородной наружности напомнила мне другую встречу летом, в августе месяце. В тот день я имел две встречи; одна из них произвела на меня премиленькое впечатление. Я проходил по Фонтанке мимо одного барского дома. У подъезда стояла щегольская двухместная карета. Вдруг швейцар отворил двери, и из них вышла молодая и изящная парочка. Дама, одетая пышно и богато, прехорошенькая и

премолоденькая, порхнула в карету, за нею вскочил господин, еще очень молодой человек, в блестящем военном мундире, и только что лакей успел захлопнуть дверцы, молодой человек впился поцелуем в губки хорошенькой дамочки, которая с наслаждением приняла его ласку. Я разглядел всю эту мгновенную сцену сквозь стекло кареты. Они меня не заметили; карета рванулась, а я расхохотался, стоя на тротуаре. Не было сомнения, что это «молодые», делавшие визиты. Супруги после медового месяца в каретах не целуются.

Часов в пять пополудни того же дня я проходил по Вознесенскому проспекту. Вдруг я услышал за собой робкий, слабый голос; я обернулся — передо мной стоял мальчик лет двенадцати или тринадцати, с миленьким и добрым личиком, смотревший на меня просящим и стыдливym взглядом. Он что-то говорил, но голос его прерывался и немного дрожал. Одет он был бедно, но очень чисто, в летнем легком пальто, в фуражке, но в довольно худых сапогах. Старенький шелковый галстучек был аккуратно повязан у него на шее. По всему было видно, что он принадлежал к семейству бедному, но честному и выдававшему лучшие дни. И видно было, что этот галстук повязала ему сама маменька или старшая сестрица. Воротнички его довольно толстой рубашки были очень чисты. Манеры мальчика были просты и вежливы. В усталом лице его было много благородного, искреннего выражения.

— Извините меня, что я вас беспокою, — сказал он. — Будьте так добры, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь... — Проговорив это, он слегка покраснел.

Я отступил на шаг от удивления. Так странно показалась мне его просьба.

— Но кто же вы? — проговорил я в недоумении, — и как это вы... просите. Я, право, не ожидал.

— Меня утром послали папенька и маменька к нашим родным на Петербургскую сторону. Они думали, что я там могу обедать. Но там... я не мог обедать, долго ждал и теперь иду домой; я очень устал, и мне очень хочется есть...

— А где вы живете?

— У Смольного монастыря... Дайте мне шесть копеек, вот тут в лавочке есть пироги, я в окошко видел; эти пироги по шести копеек, я куплю пирог и отдохну в лавочке, а там опять пойду...

К счастью, у меня в кармане был четвертак, и я отдал его бедному мальчику.

— Скажите, кто же ваши родители? — спросил я.

— Папенька сперва служил, — отвечал мальчик, — и я ходил в гимназию. Нас четверо, сестер и братьев. А как папенька нынешнего года потерял место, я уж и не хожу в гимназию; жалованья нет, и мы теперь... очень бедны...

Вся история в нескольких словах.

Очень бедны, очень бедны!

Бедность, конечно, факт... ну, положим так — исключительный, спорить не будем. Ведь есть же и богатые, и достаточные люди; у них есть дети, милые, умные, воспитанные; им покупают зуавов, и зуавы, может быть, не помешают им быть очень хорошими людьми со временем... Ведь у нас чрезвычайно всё это странно; по неизвестному какому-то закону делается, а должен же быть закон; ведь по законам же действует природа и живет человек. А между тем все-таки странно. Из мужицкой семьи выходит вдруг поэт, да еще какой; из специального заведения — мыслитель! И потому я покоен за встреченного мною мальчика. Он не пропадет; жаль, конечно, его отца, но он как-нибудь приютится, найдет себе место, обойдется. Вероятно, он уже человек законченный. К тому же ведь и не без маленьких же несчастий на земле; да и не он один, не так ли? Но все-таки невыносимо, когда — ну хоть невольно — подумаешь, сколько грустного цинизма, сколько тяжелых впечатлений вынесет этот мальчик из своего детства. И не отразится ли этот цинизм в его нравственном развитии? А если отразится, то чем? отвращением ли к этому цинизму или одним из тех примирений, которые губят душу навеки? Этот уже мальчик учился, он уже многое понимает; он краснеет и стыдится. Он честен и уже мыслит, потому что несчастье учит мыслить, да иногда и слишком рано. Что? как же отзовется ему потом его случайное нищенство? Будет ли он вспоминать этот день с отвращением и содроганием или обратится в дармоеда в отставке, в форменном пальто и с отвратительно благородной наружностью? Но... успокоимся; к чему совершенно бесполезные вопросы? Бедность всегда исключение; все живут и живут кое-как. Общество не может быть всё богато; общество не может быть без случайных несчастий. Не правда ли? Я вам даже могу рассказать одну повесть чрезвычайно оригинальной и даже очень грациозной бедности. Но эту повесть я оставлю к концу моего фельетона. Прибавлю только, что если б все были — ну хоть только богаты, то было бы крайне однообразно, к тому же бедность развивает человека, учит его иногда добродетели... не правда ли? Если б на свете везде пахло духами, то мы бы и не ценили запаха духов. О Кузьма Прутков, прими сей афоризм в число знаменитых фраз, изреченных твоею мудростью! Но не о Кузьме Пруткове я намерен теперь говорить. Я хочу сказать два слова о нашем Новом Поэте именно по поводу бедности. Он описывает в своем последнем фельетоне

безумную петербургскую роскошь и... бедность — не в Петербурге, но на Петербургской стороне, близ Смольного монастыря и вообще на оконечностях, что, как известно, уже не Петербург. Но упоминая о бедности, он извещает, что дороговизна петербургской жизни начинает возбуждать некоторые заботы в петербуржцах, в людях благонамеренных и вообще в тех гражданах Петербурга, которые в состоянии что-нибудь сделать. Он приводит, например, слух об учреждении Комитета народного здоровья, в котором, за исключением докторов, будут заседать представители городских сословий, фабриканты и ремесленники. Конечно, этот комитет что-нибудь скажет и будет действовать наиболее полезным образом, да и вообще это прекрасная мысль. Мы любим комитеты и уважаем их. Посмотрите на Комитет литературного фонда: как много он сделал для пользы литераторов, с какой необыкновенной быстротой приумножает свой капитал, как деятельны все его члены, как заметна для всех их деятельность! Вот уже новый год, а уже было одно публичное чтение в пользу нуждающихся литераторов и ученых. Уже составилось, успело состояться. А ведь чтения — важная вещь. Чтения — один из главнейших доходов Литературного фонда. Сколько принесли они прошлого года денег! Кроме Комитета для народного здоровья была еще речь одного инженера, г-на Васильева, о которой тоже упоминает Новый Поэт и которая, впрочем, появилась особой брошюрой. Г-н Васильев излагает свой взгляд на современное состояние вопроса об улучшении Петербурга и обращает тоже внимание и на дороговизну петербургской жизни. Да, на это можно обратить внимание; это даже стоит того. Говорят, что в Петербурге нельзя теперь тратить меньше полуторы тысячи рублей серебром, а меньше тысячи для семейного человека почти уже бедность. Где же взять тысячу рублей? Конечно, если б я был Иваном Александровичем Гончаровым, я бы написал каких-нибудь полтора печатных листика, так, чего-нибудь вроде отрывка (каждая крупинка высокоталантливого человека драгоценна), — и вот уж у меня и тысяча серебром. Но ведь не все же Иваны Александровичи Гончаровы! Наконец, Новый Поэт упоминает и об мыслях г-на Лаврова в Пассаже... Ах, извините! это уже не для улучшения Петербурга. Это так, для философии. Что ж? и философия может ведь послужить к улучшению. Она украшает ум, дает ему разные мысли, ну и прочее, и всё остальное. Я вообще ужасно люблю, когда Новый Поэт говорит, например, о философии, об искусстве... и вообще про добродетель. Правда, его слова об искусстве, по поводу мыслей г-на Лаврова, немного... как бы это сказать — ну, хоть немного удивят г-на Лаврова, тем более что Новый Поэт обращается к нему с вопросом: как он об его словах думает? Но ведь нельзя же человеку знать всё, всю подноготную; судить обо всем одинаково удовлетворительно; ведь иногда и ошибается человек. Повторяю: не будь разнообразия, было бы очень скучно.

Почему ж лишить этого разнообразия и Нового Поэта? Напротив, ему именно надо пожелать некоторого разнообразия, хотя мы все-таки читаем его с величайшим удовольствием, даже и в теперешнем виде, и, получая «Современник» — единственный русский журнал, в котором все статьи можно читать с любопытством, — мы всегда разрезаем прежде всего Нового Поэта и г-на —бова.

В спорах голосисты,
Смелы невпопад,
Эти публицисты
Скоро замолчат.
Будут жить для целей
Мелкой суеты, —
И опять камелий
Станешь петь нам ты.

Не соглашаюсь! Совершенно не соглашаюсь! Это стихотворение как-то случайно попало ко мне, и я нечаянно его затвердил; но — не соглашаюсь! Конечно, всякий может иметь свои мнения. Можно не соглашаться с г-ном —бовым, но, мне кажется, я бы умер со скуки за его статьей, если б он хоть насколько-нибудь изменил характер своих указов, отдаваемых им по русской литературе:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
В статьях Дудышкина есть чары,
И поучительны от прозы до стихов
Литературные базары,
Есть упоение в софизмах Гымалэ,
Есть перлы в омуте журналов,
Мил Войскобойников, собирающий во мгле
Большую серию скандалов.
Я это всё люблю, но ты, о критик —бов,
Для сердца ты всего дороже!
Не мысля, я скажу — ты выше всех умов,
Подумая — скажу я то же.
Ты можешь критикой вознестись иль погубить,
Тобою горд журнальный лагерь,
И равный силами с тобой лишь может быть
Один Конрад Лилиеншвагер.

Но, кроме г-на —бова я люблю и Нового Поэта, даже больше, чем г-на —бова. Меня всегда возмущало, что его считают родоначальником литературных скандалов. Не верю и не хочу верить. Имя его в литературе до сих пор безукоризненно и честно. Еще давно, чуть не в детстве моем я начал читать Нового Поэта. Я всегда любил воображать наружность поэтов и прозаиков, которые произвели на меня впечатление. Но, странное дело, я никак не мог добиться увидеть портрет Нового Поэта. Я отыскивал его между портретами г-на Краевского, г-на Старчевского, вообще между портретами всех русских деятелей слова и мысли, изданных г-ном Мюнстером и которых уже издано теперь, может быть, до ста лиц, и никак не мог отыскать в их числе Нового Поэта. Но довольно о Новом Поэте. Меня еще, пожалуй, обвинят в пристрастии. Я ведь заговорил о нем, собственно, по поводу одной оды, будто бы написанной петербургскими камелиями; чего не сочинят праздные люди! Вот эта ода:

Золото, роскошь, уборы алмазные
Вкруг рассыпаются нас,
Ездим мы в оперы — пышные, праздные,
Всем богачам напоказ.
Жемчуг, кораллы, с нарядами редкими,
Лошади, упряжь карет —
Всё это дал нам своими «Заметками»
Новый Поэт.

Все мы — Шарлотты, Армансы, Амелии —
Прежде не знали тех благ;
Было в презрении имя камелии,
Мы утопали в долгах;
Вдруг улыбнулось нам счастье алмазами,
Принял с восторгом нас свет,
Лишь о камелиях вышел с рассказами
Новый Поэт.

Стал рисовать он с особой любовью
Невских гетер идеал.
Вспрянули старцы с вскипевшею кровию,
Круг молодежи восстал.
Золото в грудах снесли наши пленники,
Бедности минул и след.

Как подносил нам венок в «Современнике»
Новый Поэт.

Пусть враг прогресса, развития женского,
Дерзкий аскет нас клянёт —
Новый Поэт от хулы Аскоченского
Юных камелий спасет.
Пусть публицист занят делом Италии,
—бов порицает весь свет, —
Вновь воспоем наши плечи и талии
Новый Поэт.

Ты, увлечен благородною целию,
Наш воспевал идеал,
И на пирах за то каждой камелией
Пит твой заздравный бокал.
Если ж стезю твою литературную
Кончишь ты в старости лет, —
Все мы почтим тебя мраморной урною,
Новый Поэт.

Шутка, милая шалость! но совершенно неправдоподобная; во-первых, ни одна из камелий не станет сочинять стихи. Вообще все подобные произведения грешат своею неправдоподобностью, хотя тем самым становятся безобидны. Так, например, известная эпиграмма в прозе на г-на Краевского, помещенная в прошлогодней «Искре», если припомните, читатель, упоминала еще о г-не Перейре, г-не Дудышкине и сенсимонистах. Совершенно неправдоподобная эпиграмма! Кстати, о г-не Краевском: в одном из прошлогодних объявлений об издании «Отечественных записок» в шестьдесят первом году сказано, что отделом критики будут заведовать с будущего года г-да Дудышкин и Краевский. Это объявление произвело некоторый говор, как и известная статья в «Отечественных записках» — «Литература скандалов»; меня даже просили уведомить публику, что объявление о будущих критиках г-на Краевского должно считать самым важным и самым назойливым литературным скандалом за весь прошлый год. По-моему, это уже слишком сильно. Не так ли? Почему же г-ну Краевскому не написать хорошей критики? Он редактор «Энциклопедического лексикона». Он уже слишком двадцать лет издает журнал. Если он до сих пор не написал, то еще нельзя сказать, что он не напишет. А впрочем, мне кажется, что известие о будущей критической деятельности г-на Краевского не совсем справедливо. Спешу оговориться:

может быть, я ошибаюсь и, во всяком случае, с нетерпением буду ждать выхода номера «Отечественных записок» с статьей почтенного редактора. Но мне все-таки кажется, что г-ну Краевскому теперь не до русской литературы; у него и без того много дела. Кроме серьезного дела, у него на плечах сорок будущих томов «Энциклопедического лексикона». Кроме «Энциклопедического лексикона», нужно поднять «Отечественные записки», сделать их поживее, посовременнее, расшевелить заснувший журнал, не то, пожалуй, не будет подписчиков... Не до литературы ему теперь!

Но несмотря на то, что ему теперь не до литературы, я, чтоб окончить о г-не Краевском, все-таки скажу, что считаю его лицом весьма полезным русской литературе, и говорю это совершенно серьезно. Если он и не писал почти ничего в продолжение всей своей литературной деятельности, то умел зато издавать журнал. Теперь это сделалось легче, но прежде было даже и очень нелегко. Журналы получили теперь у нас высокообщественное значение, и г-н Краевский, как издатель журнала, действительно, много тому способствовал. Он взглянул, между прочим, на журнал с коммерческой точки зрения (как и следовало сделать во времена г-на Краевского); в этом чувствовалась настоящая потребность, и, положительно можно сказать, он первый придал издательскому делу серьезную деловитость коммерческого предприятия и необыкновенную аккуратность. Укажут на «Библиотеку для чтения», скажут, что она явилась прежде «Отечественных записок» и издавалась тоже с аккуратностью, неслыханною до того в русской журналистике. Сознаюсь, что первый шаг важнее всего, но зато и второй шаг имеет, может быть, совсем не меньшее значение. Успех первого шага объясняют иногда случайными обстоятельствами, но успех второго шага окончательно оправдывает дело. Он доказывает всем не только возможность, но и устойчивость, но и зрелость дела. Аккуратностью и точностью своего издания г-н Краевский приучил публику верить в стойкость литературных предприятий, и эта уверенность ободрила публику и размножила подписчиков. Если г-н Краевский мало сделал как литератор, то сделал довольно как общественный деятель. Ему, как аккуратнейшему из издателей, и поручили теперь издание «Энциклопедического лексикона». Но г-ну Краевскому всегда мало одной (и опять-таки чрезвычайно важной) заслуги; он объявляет, что хочет писать критики. С богом! Но если г-ну Краевскому вздумается, напр<имер>, напечатать от своего имени в газетах письмо, и в этом письме он станет объяснять меру своего участия в издании «Энциклопедического лексикона», скажет, что он принял на себя всю нравственную ответственность за статьи будущего лексикона; что он будет читать статьи по всем отраслям знания — философии, естественных наук,

истории, литературы, математики; что он будет исправлять, сокращать и дополнять эти статьи по мере надобности; то тогда нам простительно будет хоть подивиться. Это будет даже уж слишком неловко. Вот это-то и насмешит, вот это-то и окомпрометирует! Я думаю, если б сам Бекон издавал «Энциклопедический лексикон» с такой ответственностью, то и тот насмешил бы публику. Нельзя же всё знать, все науки на свете! Нельзя же всё уметь делать. Шекспир был великий поэт, но построить Петра в Риме он бы не взялся. А г-н Краевский даже и не Шекспир...

Но, боже мой, куда я увлекся! Я всё забываю, что я фельетонист! Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Надобно писать о новостях, а я пишу об «Энциклопедическом лексиконе». Новостей! новостей! А теперь к тому же самое шумное время, середина зимы, рождество, Новый год, праздники, святки; святки! Кстати: помните ли вы стихотворение:

Перекресток, где ракирка
И стоит и спит...
Тихо ветхая калитка
За плетнем скрипит.
Кто-то крадется сторонкой,
Санки пробегут...
И вопрос раздастся звонкой:
— Как тебя зовут?

Один из петербургских мечтателей уверял меня, что тихая грация этого стихотворения недоступна для коренного петербургского поэта и что будто бы в Петербурге оно должно непременно перефразироваться в такие стихи:

Переулок, где Фонтанка
Мерзлая стоит...
Против лавочки шарманка
Жалобно хрипит.
Кто-то крадется за будкой;
Фонари горят...
И вопрос раздастся чуткой:
Кто идет? — Солдат!

Это стихотворение сентиментального мечтателя. А вот стихотворение другого мечтателя, мечтателя-прогрессиста, мечтателя-деятеля, или деятельного мечтателя:

Прогресс и ум во всем в нас видны
Все наши страсти холодны,

Мы в увлечениях солидны,
Мы в наслаждениях скромны.
За ближних мы стоим горою,
Но, чтя Вольтера и Руссо,
Мы кушать устрицы порою
Не забываем у Дюссо.
Доходных мест, больших протекций
В душе не смея разлюбить,
На чтении публичных лекций
Талант мы рады поощрить;
На пикнике, в разгаре спора,
Полиберальничать слегка,
И, быв в восторге от Сюзора,
К нему заехать с пикника.
Нас занимают виг и тори,
Рим и парламента азарт;
Мы дружно хлопаем Ристори
В «Медее», «Камме» и «Стюарт».
Нас равномерно занимает:
Как изменил свой план Кавур
И что Каткову отвечает
В «Ведомостях Московских» Тур,
Что случилось с Ицкой, нашим Крезом,
Что говорил с трибуны —бов,
И как с привозным ut'diez-ом
В последний раз пропел Кравцов
Средь благородного собрания,
Меж танцев — толк у нас один,
Что стоит гласного изгнания
Из всех журналов Беллюстин
Мы признаем, что развращает
Людей невежество и тьма,
Из нас никто уж не читает
Ни Кушнерева, ни Дюма.
Служа для высших в жизни целей,
Мы все тайком со всех сторон
Содержим в роскоши камелий
И разоряем наших жен;
Проводники идей известных,

Мы о гуманности кричим,
И щедро в пользу школ воскресных
Поем и пляшем и едим.

Мы строим планы и гримасы,
Мы строим куры и дома —
И всё в пределах новой расы,
Прогресса, такта и ума.

Но бог с ними, с мечтателями! Ристори... Но все-таки прежде Ристори надо бы упомянуть о памятнике, который будет наконец воздвигнут Пушкину в саду бывшего Александровского лицея; все-таки надо бы сказать хоть о книгопродавческой теперешней деятельности, хоть о воскресных школах, которые размножаются с такой быстротою; хоть об изданиях, предпринимаемых собственно для народного чтения. Наконец, надо бы достать, хоть из-под земли, какую-нибудь особенную, интереснейшую новость, еще неизвестную или малоизвестную другим фельетонистам, чтоб пощеголять перед ними; но... но я всё это оставляю до другого раза! О памятнике я скажу подробнее, когда его воздвигнут; о книгопродавческой деятельности скажу в своем месте. О воскресных школах мы намерены поместить особенную статью; об изданиях, предпринимаемых для народного чтения, — тоже. Что же касается до новости, никому не известной, то я непременно обещаюсь ее добыть для следующего фельетона, если только меня не предупредят. Остается теперь только одна Ристори...

Но, господа, мне кажется, что вы уже столько прочли о Ристори, столько слышали о Ристори, что вам наконец надоело читать об этом. Разумеется, не надоеет смотреть на Ристори, и мы вот что думаем: мы лучше наглядимся сперва на нее, во всем ее репертуаре, во всем, что она намерена играть в Петербурге, и тогда... И тогда мы дадим вам о ней подробный и окончательный отчет. Итак, и об Ристори кончено. До свидания, господа, до следующего раза. Тогда я, может быть, еще что-нибудь увижу во сне, и тогда... Но до свиданья!

Ах, боже мой, и забыл! Ведь я хотел рассказать мой сон о грациозной бедности. Ведь я обещался рассказать этот сон в конце фельетона. Но нет! я и его оставляю до будущего раза. Уж лучше всё вместе. Каков рассказ будет — не знаю, но история, уверяю вас, интересная.